

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

© С. А. Фомичев

ТАВРИЧЕСКИЙ МИФ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ А. С. ПУШКИНА

Стихотворение «Чаадаеву» («К чему холодные сомненья...») Пушкин неизменно датировал 1820 годом,¹ хотя черновик послания в Первой масонской тетради (ПД 834, л. 44 об.—45) относится к январю-февралю 1824 года.² Здесь было вполне прописано мифологическое начало произведения:

К чему холодные сомненья!
Я верю — здесь был грозный храм
Где <крови> жаждущим богам
Вершились жертвоприношенья
Здесь упокоена была
Вражда [свирепой] эвмениды
Когда
На брата руку занесла

Не менее важно отметить, что тогда же была намечена и «автобиографическая» концовка стихотворения:

во время
Огнем пылая <нрзб.>
Хотел развалинам иным
Оставить имя роковое

Давно ли я
В объятьях
Вольности младенец

Первое стихотворение было опубликовано в альманахе «Северные цветы на 1826 год» в составе «Письма к Д(ельвигу)», где описывалось путешествие поэта по Крыму в 1820 году. В первом же издании своих стихотворений (1826) Пушкин озглавил произведение: «К Ч(аадаеву)» и снабдил его пометой: «1820. *Морской берег Тавриды*».

Можно понять, почему Пушкину было важно отметить, что он вспоминал друга в Крыму. Это было знаком благодарности ему за хлопоты в Петербурге, когда поэту грозила ссылка в Сибирь или на Соловки, но в конце концов обернулась не только переводом по службе на юг, но и разрешением предварительно посетить Крым.³ Но при чем тут были какие-то «холодные сомненья»?

¹ Ряд крымских по тематике стихотворений, написанных Пушкиным в это время, был, возможно, вызван его работой над автобиографическими записками, где воскрешались юношеские воспоминания.

² См.: *Левкович Я. Л.* Рабочая тетрадь ПД 834. История заполнения // Пушкин. Исследования и материалы. СПб., 1995. Т. 15. С. 233.

³ 5 мая 1820 года петербургский почт-директор К. Я. Булгаков писал своему брату в Москву: «Пушкин-поэт, поэтов племянник, вчера уехал в Крым». О том же 17 мая сообщал Н. М. Карамзин П. А. Вяземскому (см.: *Летопись жизни и творчества Александра Пушкина*. М., 1999. Т. 1. С. 182, 184).

В традиционном комментарии стихотворение обычно датируется 1825 годом с пояснением, что только Пушкину могли стать известны «холодные сомнения» автора «Путешествия по Тавриде в 1820 году» И. М. Муравьева-Апостола относительно местоположения храма Артемиды (Дианы) в Крыму. Крымские исследователи, однако, справедливо отмечают, что споры по этому поводу велись издавна — от Страбона (I век н. э.) до Палласа (конец XVIII века).⁴ И все же, на наш взгляд, гораздо важнее представить, какие «холодные сомнения» *адресата* могли стать для Пушкина отправным стимулом его полемического послания.

Заметим, что эпитет «холодный» у Пушкина часто выступал в качестве синонима «непоэтического», «рассудочного» — ср.:

Возможно ли в свое творенье,
Уняв веселых мыслей шум,
Тогда вперять *холодный* ум?..
(«Моему Аристарху»)

С померкшею душой святыне предстоит,
Холодный ко всему и чуждый умиленью...
(«Безверие»)⁵

Чье сердце *хладное*, презревшее Харит,
Твое уныние и слезы укорит?
(«К Овидию»; II, 219)

Ни слог певца «Пиров», столь чистый, благородной,
Ничто не трогает души твоей *холодной*...
(«Послание цензору»; II, 269)

И здесь следует вспомнить, что «безнравственность» греческих мифов порицал еще Платон. В новое время сходную оценку им дал Ж.-Ж. Руссо: «Древнее язычество породило гнусных богов, которых здесь на земле наказали бы как преступников и жизнь которых вместо картины всеобщего блаженства представляет картину злодеяния и удовлетворения похотей. Но порок, вооруженный священным авторитетом, тщетно спускался из вечного обиталища: нравственный инстинкт отталкивал от него сердца смертных».⁶

«Жажда любви, — замечал и Жан Поль, — заставляет нас сильнее верить в бессмертие. Христианство усовершенствовало сердце и ум и согрело их; любовь получила новое, высокое значение и целью своею выбрало добродетель. Этим легко объясняется, почему в древности, в этом холодном периоде человечества, многие секты отвергали бессмертие и почему большая часть греческих философов с особенным холодным равнодушием отзываются о любви и о бессмертии».⁷

⁴ См.: Казарин В. П., Андрейко Е. В., Шавшин В. Г. Пушкин в Георгиевском монастыре // Крымские Пенаты: Альманах литературных музеев. Симферополь, 1994. С. 30—32. Лицейский профессор Н. Ф. Кошанский, в частности, считал: «...храм ея в Херсонесе Таврическом был славен; особенно по приключению Ореста и Ифигении» (Кошанский Н. Ручная книга древней словесности. СПб., 1817. Т. 2. С. 39). О полемике по поводу вероятного местонахождения храма см.: Тункина И. В. Русская наука о классических древностях Юга России (XVIII—середина XIX в.). СПб., 2002. С. 534—535.

⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. Л., 1999. Т. 1. С. 154, 157—158 (курсив здесь и в двух следующих примерах мой. — С. Ф.). Далее произведения Пушкина цитируются по Большому академическому изданию 1937—1949 годов с указанием томов и страниц в тексте статьи.

⁶ Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения. М., 1981. Т. 1. С. 354.

⁷ Извлечения из Жан-Поля // Галатея. 1839. Ч. 4. С. 375—376.

О том же и начало послания Пушкина Чаадаеву:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждающим богам
Дымилась жертвоприношенья...

(II, 364)

В мифологической сюите «Ористеи» также царствовали пороки и преступления: убийство Агамемнона и Клитемнестры, принесение в жертву Ифигении, преследование Ореста Эриниями (Эвменидами) и его сумасшествие...⁸

Но именно в Крыму, в купели разнообразных цивилизаций, Пушкину ясно видится неуклонное движение человечества к идеалу.

Передавая легенду об Ифигении в Тавриде, Пушкин прежде всего опирается на одно из «Посланий с Понта» (II, 2) Овидия, адресованное другу Котте Максиму. Здесь излагался рассказ старого гета:

«Очень знакомо и нам, чужеземец, понятие о дружбе,
Здесь, где далеко от вас, в Понт изливается Истр.
Место в Скифии есть, что зовется издревле Тавридой (...)
Феба родную сестру там почитает народ.
Там и по нынешний день есть храм, и четырежды десять
К мощным колоннам его в гору ступеней ведут.
Здесь, повествует молва, небесный кумир находился;
Цело подножье его, хоть и пустое стоит.
Камень алтарный, что был по природе своей белоснежным,
Красным от крови людей сделался, цвет изменив (...)
Вдруг принесли паруса ладью, и два чужестранца
Юные на берег наш вместе ступили ногой,
Сверстники и друзья; имена сохранило преданье:
Звался Орестом один, звали другого Пилад.
Тотчас же их отвели к алтарю жестокой Дианы,
Руки обоим связав крепким ремнем за спиной,
Жрица гречанка водой очистительной их окропила (...)
С радостью в них узнает дева своих земляков.
„Пусть один, — говорит, — будет заклан в жертву богини,
С вестью в родные места пусть возвратится другой”.
К смерти готовый Пилад торопит Ореста в дорогу,
Спорит Орест. Умереть каждый за друга готов (...)
Крепкая память о них, об их удивительной дружбе
В Скифии даже теперь, через столетья, жива».⁹

В стихотворении Пушкина воспроизводится просветленный эпилог злоключений Атридова рода:

...Здесь упокоена была
Вражда свирепой Эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,

⁸ Сюжет мифа об Ифигении был трагически изложен в пародии-водевиле Н. И. Хмельницкого «Греческие бредни, или Ифигения в Тавриде наизнанку». Водевиль не был поставлен на сцене и появился в печати лишь в 1825 году, но, по всей видимости, был написан раньше. Пушкин мог иметь о нем представление, поскольку был знаком с Хмельницким еще со времен Лицея и общался с ним в Петербурге до ссылки. Выражение «греческие бредни» употреблено Пушкиным в кишиневском стихотворении «Раззевавшись от обедни...» (1822).

⁹ Овидий Публий Назон. Скорбные истории. Письма с Понта. М., 1982. С. 126—127.

И душ великих божество
Своим созданием возгордилось.
(II, 364)

Сомнения же самого Чаадаева, к которому обращено стихотворение, были также, вслед за Платоном, вполне принципиального свойства.

В седьмом из своих «Философических писем» Чаадаев писал: «В настоящее время вопрос о том влиянии, которое Гомер оказал на человеческий ум, не оставляет больше сомнений. Мы отлично знаем, что такое гомеровская поэзия; мы знаем, каким образом она содействовала определению греческого характера, в свою очередь определившего характер всего древнего мира. (...) На наш взгляд, гибельный героизм страстей, грязный идеал красоты, необузданное пристрастие к земле — все это заимствовано у него. Заметьте, что ничего подобного никогда не наблюдалось в других цивилизованных обществах мира. Одни только греки таким образом идеализировали и обоготворяли порок и преступление, так что поэзия зла существовала только у них и у народов, унаследовавших их цивилизацию. (...) Хотя в наши дни Гомером занимаются очень мало и, наверное, его не читают, его боги и герои тем не менее все еще оспаривают почву у христианской мысли. Дело в том, что в этой глубоко земной, глубоко материальной поэзии, необычайно снисходительной к порочности нашей природы, действительно заключается какое-то удивительное обаяние; она ослабляет силу разума, своими призраками и обольщениями держит его в каком-то тупом оцепенении, убаюкивает и усыпляет его своими мощными иллюзиями. (...) Что касается меня, то, по моему мнению, для того, чтобы нам вполне переродиться в духе откровения, мы должны еще пройти через какое-нибудь великое испытание, через всемогущее искупление, которое весь христианский мир испытывал бы во всей его полноте, которое по всей земной поверхности ощущалось бы как грандиозная физическая катастрофа; иначе я не представляю себе, каким образом мы могли бы очиститься от грязи, еще оскверняющей нашу память. Итак, вот как философия истории должна понимать гомеризм. Судите теперь, какими глазами она должна смотреть на личность Гомера. Подумайте, не обязана ли она ввиду этого по совести наложить на его чело клеймо неизгладимого позора!»¹⁰

Эти строки, помеченные автором 16 февраля 1829 года, Пушкин прочтет лишь в 1831 году, когда Чаадаев передаст ему рукопись для возможной публикации в Петербурге. Но мысли, здесь выраженные, едва ли были совершенной новостью для Пушкина, так они вызревали не в последнюю очередь в былые времена в ходе бесед и переписки философа с поэтом. Об этом, в частности, замечает Пушкин 6 июля 1831 года в отклике на «Философическое письмо»: «...мы продолжим беседы, начатые нами в Царском Селе и так часто с тех пор прерывающиеся» (XIV, 187). Признавая «силу, истинность и красноречие» рассуждений друга, Пушкин, однако, возражает: «Не понимаю, почему яркое и наивное изображение политеизма возмущает вас в Гомере. Помимо поэтических достоинств, это, по вашему собственному признанию, великий поэтический памятник. Разве то, что есть кровавого в Илиаде, не встречается также и в Библии?» В «Письме к Д.», вероятно, не случайно цитация данного стихотворения предварена замечанием: «Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических, по крайней мере, тут посетили меня рифмы» (XIII, 252).

Не исключено, что именно такие, чаадаевские, «холодные сомнения» и развенчивались в пушкинском поэтическом послании. В самом деле, было бы странно начинать дружескую беседу с мелочной частности: с возражения иным лицам по поводу точного прикрепления на местности крымской легенды. Подобные уточнения

едва ли были знакомы адресату и уж, во всяком случае, мало его занимали. Нет, умо-зрительные претензии философа к античным легендам, легшим в основу многих произведений как древних, так и современных авторов, взывали к продолжению прежних «пророческих споров» с Чаадаевым, о которых Пушкин вспоминал в кишиневском послании к другу близ тех мест, где некогда также томился в ссылке Овидий:

...Приду, приду я вновь, мой милый домосед,
С тобою вспоминать беседы прежних лет,
Младые вечера, пророческие споры,
Знакомых мертвецов живые разговоры;
Поспорим, перечтем, посудим, поборим,
Вольнолюбивые надежды оживим,
И счастлив буду я...

(II, 189)

И в центре нового пушкинского послания «К чему холодные сомненья...» после строки отточий, вызванной не просто нарушением правила альтернанса, но и паузой нравственного осмысления намеченной выше истории, следовала своеобразная мораль: внутреннее просветление личности, уподобленное историческому торжеству Провидения. По Чаадаеву, «можно сказать, что ум чувствует себя теперь привольно лишь в сфере истории, что он старается ежеминутно опереться на прошлое и лишь только дорожит вновь возникающими в нем силами, насколько способен уразуметь их сквозь призму своих воспоминаний, понимания пройденного пути, знания всех факторов, которые руководили его движением в веках».¹¹ «Гомеризм», по его мнению, такого нравственного урока не предполагал. Поэт же пропустил античное предание «сквозь призму своих воспоминаний»:

...Чадаев, помнишь ли бывшее?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном
Теперь и лень и тишина,
И в умиленьи вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

(II, 364)

Это своеобразный перифраз концовки юношеского послания к Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы...»). Но ныне здесь иная, провиденциальная логика, откровение вечности, той неминуемой реальности, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся» (III, 331).

Не случайно сходное развитие темы было намечено Пушкиным действительно в 1820 году в стихотворении «Дочери Карагеоргия»,¹² в котором также были противопоставлены «Чудесный... отец, преступник и герой» и искупившая его преступления дочь:

Но ты, прекрасная, ты бурный век отца
Смирненной жизнью пред небом искупила:
С могилы грозной к небесам
Она, как сладкий фимиам,
Как чистая любви молитва, восходила.

(II, 148)

¹¹ Там же. С. 103.

¹² Во второй части «Стихотворений Александра Пушкина» (СПб., 1829) оно было помещено непосредственно вслед за посланием «Чаадаеву» («К чему холодные сомненья...»).

Такой прорыв можно обрести и в поэтическом озарении: «в умиленьи вдохновенном».¹³ Но ведь и по пути испытаний вел Ореста также Аполлон — божество, которое возгордилось своим созданием великих душ.¹⁴

Стихотворение Пушкина имеет, кажется, еще один полемический (по отношению к чаадаевским взглядам) оттенок. В Библии совершенно нет сказаний о самоотверженных друзьях,¹⁵ что и побуждает поэта обратиться к античной мифологии. Впрочем, недаром письмо к Чаадаеву Пушкин заключает фразой: «Лучше, говорит Екклесиаст, внимать наставлениям мудрого, чем песням безумца».¹⁶ Вся тональность чаадаевских размышлений ближе всего напоминала именно эту библейскую книгу. Но в ней содержались и такие стихи:

«Человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. „Для кого же я тружусь, и лишаю душу мою благу?“ И это — суета и недоброе дело!

Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их.

Ибо, если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его.

Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться?

И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется» (Ек. 4: 8—12).

¹³ «Лень и тишина» здесь также примета поэтического озарения. «Если попытаться выделить наиболее устойчивый типаж пушкинских посланий, к которому в равной степени тяготеют и образ лирического субъекта, и образы адресатов, то этим типажом будет поэт-ленивец (...) за поэтизацией лени скрывается эстетическая позиция, и не важно, что она была произведена на свет отнюдь не единоличными усилиями Пушкина (...) В перспективе пушкинского творчества она сомкнется с глубокими прозрениями в таинственные истоки творчества, в психологию особых душевных состояний, предшествующих реализации поэтического замысла» (*Грехнев В.* Мир пушкинской лирики. Нижний Новгород, 1994. С. 40).

¹⁴ Дж. Майклсон считает: «Строчки „И душ великих божество / Своим созданием возгордилось“ просто анахроничны и бессмысленны, если под „божеством“ имеется в виду Аполлон или какой-нибудь другой языческий бог, тем более, если полагать, что эти „души великие“ являются его созданием. Ведь языческие боги, хотя и сильно влияли на судьбы смертных, но в классической мифологии они вовсе не являются создателями людей. Следовательно, слово „божество“ в данном тексте должно соотноситься с Богом» (*Майклсон Дж.* Пушкин и Чаадаев: Встреча в Крыму // Пушкин и современная культура. М., 1966. С. 166). Можно было бы вспомнить, что Тантал (предок и Ореста, и Пилада), по греческой мифологии, был сыном Зевса. Но суть все же не в этом: в стихотворении вполне соблюден античный колорит, и воспоминание о христианском Боге здесь было бы неуместным.

¹⁵ Подобная тема намечена, пожалуй, только в Первой книге царств, в упоминаниях о дружбе Давида с Ионафаном, сыном Саула.

¹⁶ В Книге Екклесиаста (7: 5): «Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых».

© И. А. Кузьмина

П. Н. ЦУРИКОВ — АДРЕСАТ СТИХОТВОРНОГО ПОСЛАНИЯ А. А. ФЕТА

Стихотворное послание Фета «Амур — начальник Гименея...» до сих пор печаталось по тексту не совсем точной публикации 1921 года и практически без комментария. Приводились лишь сведения, сообщенные изданием, где стихотворение впервые увидело свет: имя-отчество адресата — Павел Николаевич, место и дата написания — Степановка, 11 сентября. Между тем без реального комментария, со-

Русская литература

4

2007

Санкт-Петербург
«НАУКА»

